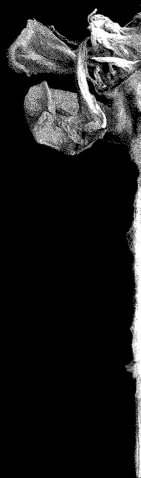


INSPIRIA

Наташа Гринь
АПОПТОЗ



содержит
нецензурную
брань



INSPIRIA

Наташа Гринь

АПОПТОЗ

Серия «Loft. Современный роман. В моменте»

текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68453183
Наташа Гринь. Апоптоз: Эксмо; Москва; 2023
ISBN 978-5-04-177427-1

Аннотация

Молодая преподавательница французского впервые сталкивается со смертью на похоронах своей бабушки, после чего каждодневный страх смерти полностью поглощает ее жизнь.

Страх превращается в желание отомстить миру и Богу за свою смертность, а желание приводит к действию, навязчивому и неотвратимому.

«Апоптоз» – дебютный роман Наташи Гринь. Экспериментальный текст, где детально исследуются извечные вопросы жизни и смерти.

Об авторе: Филолог, преподаватель, переводчик с французского языка, редактор. Родилась и выросла в закрытом городе Озёрске Челябинской области. Закончила филологический факультет НИУ ВШЭ. Сейчас живет в Москве и Париже.

Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

| | |
|-----------------------------------|----|
| Запуск | 7 |
| Активация | 33 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 51 |

Наташа Гринь

АПОПТОЗ

© Гринь Н., 2023

© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2023

Все права защищены. Книга или любая ее часть не может быть скопирована, воспроизведена в электронной или механической форме, в виде фотокопии, записи в память ЭВМ, репродукции или каким-либо иным способом, а также использована в любой информационной системе без получения разрешения от издателя. Копирование, воспроизведение и иное использование книги или ее части без согласия издателя является незаконным и влечет за собой уголовную, административную и гражданскую ответственность.

* * *

Об авторе

Филолог, преподаватель, переводчик с французского языка, редактор.

Родилась и выросла в закрытом городе Озерске Челябинской области. Окончила филологический факультет НИУ ВШЭ.

Сейчас живет в Москве и Париже.

* * *

*L'homme né de la femme!
Sa vie est courte, sans cesse agitée.
Il naît, il est coupé comme une fleur;
Il fuit et disparaît comme une ombre.*

Job 14:1–2

* * *

Моей семье

Запуск

Всю ночь я ела апельсины. Немытые, взрезала им пупок тупым ножом, руками разламывала на части, выгибала их спину и с силой тянула сочную мякоть. По рукам кровью бежал холодный сок, повисал на локтях. Губы пульсировали, в уголках приятно щипало. Обезвоженные мешочки знакомо застревали в зубах. Я цепляла их ногтями. Кидала рваные корки прямо под ноги, на пол, мне так хотелось. Покончив с одним, кусала липкую кожу ладоней, оставляя на ней влажно-горячий след поцелуя, и принималась за следующий плод. Я ела жадно, истерично, по-мужски. Когда устала, бросила нож в апельсиновую лужу и, продавив корки пальцами ног, прошла в спальню. Усевшись на кровать, отряхнула апелькистями апельступни. Налипшие крошки с волосами слышно посыпались на ламинат. Я спала хорошо. Мне снился знакомый, который пытался меня изнасиловать.

Утром я обнаружила в кухонной раковине огромного, пружинистого паука. Я боюсь пауков. Мне хотелось по привычке закричать, но момент был упущен, и я промолчала. Просто стояла и смотрела на эту мерзость, испытывая удовольствие от немого, сдерживаемого страха. Достала стакан, зачем-то продула пыль, перевернула дном вверх и накрыла им мертвенно-живую серость. Паук не дернулся. У меня в

голове тогда кто-то скучаяще произнес – вот оно, значит, как – под стеклянным колпаком.

Рядом на столешнице прела грязная вчерашняя посуда, ее надо помыть, а иначе – опять ругань с сестрой и чистоплотный террор. Мой прикроватный столик, где вечно все навалено, сестра называет «паучий угол». В тот момент мне показалось это забавным. Я включила воду, увела кран влево, подальше от заключенного, смочила губку, выдавила средство для мытья посуды. Пожамкала. Мыла тарелки не глядя, наблюдала за пауком. Ничего, все так же бездвижен. Неровные брызги летели на стенки стакана, скапливались на дне, который теперь верх, сливались в маленькие лужи и текли вниз. А сквозь толщу стекла на это все смотрела проволоочная убийца, подначивавшая во мне утробный, межреберный страх.

Отец учил нас с детства, что дьявол боится смеха. Хочешь перестать чего-то бояться – просто над этим посмейся. Но, конечно, тогда он еще не знал, что страх пауков и змей у человека врожденный. Да и если начистоту – смех убить не может, он может только придавить. Я видела, как внутреннее стекло начало потихоньку запотевать. Вспомнила отца и постаралась представить, что у этой страхолюдины там приступ астмы или прогрев двигателя. Сработало не особенно. Я подумала, может ли он умереть от фэйри или нет. И специально стянула губковый корсет прямо над стаканом. Потом опустила кран, смахнула воду с тарелок и вытерла руки

сырым полотенцем с кислым запахом.

Я вернулась на кухню через час. Живой. Твою мать. Наверное, надо было подсунуть бумагу, достать его из раковины, в окно выкинуть или вынести на улицу. Так все хорошие люди обычно делают. А я, я – хороший человек? Можно ли хорошим людям бояться пауков, накрывать их стаканом и ждать, пока они там умрут? Я не хотела об этом думать, не хотела ничего решать – ни за зверюгу, ни за себя. Ничего, потерпит. Я же терплю как-то, я же терплю. Уже двадцать с лишним чем-то набитых лет терплю этот неколпаковский колпак, вот и эта мразь потерпит.

Душный подъезд выплюнул меня на улицу в половине какого-то. Пахло Москвой и дынями. Приподъездная клумба стыла, как свежая могила. Это, наверное, Баадер – Майнхоф. Я ведь постоянно про нее думаю. Прошло уже почти два года, а я каждое сегодня представляю, что стало с внутренностями гроба. Оголился ли череп, отросли ли волосы, какого они цвета? Как это вообще все выглядит? Может, и хорошо, что я не знаю. В сущности, самое главное, чтобы покойник лежал на восток.

Пока шла до метро, хлопками проверяла карманы. Мало кто так умеет. Честно говоря, идти мне было особо некуда, но не идти никуда еще хуже. Решила, как всегда, поехать в центр, а там посмотрим. Переводить все равно нечего, преподавать некому, а платить за закуску только через две недели.

Может, кто-нибудь опять откажется от проекта, и я возьму, как беру все, от чего отказываются. Я так на лестничной площадке однажды нашла оранжевую Ахматову, с ятями. Советский репринт эмигрантского издания, но все равно приятно. Книга, кстати, оказалась с родословной – на левом форзаце под протестным углом зиял инскрипт: «Отличнице Ане от Деда Мороза и его помощницы – Снегурочки, которая», и дальше – отек чернил. Хочется верить, что от Аниных слез – сложно представить более бездушный подарок для новой жизни. Я Ахматову не очень люблю. Она пишет красиво, но не то.

За туда-обратно в метро не произошло ничего интересного. В городе тоже было как-то нервно и безразлично, может, из-за погоды. А может, из-за меня. Единственное только – странное дело – в том букинисте, на Кузнецком, как-то сонно, видимо от безнадеги, упал мне прямо в руки очередной дореволюционный отказник – с покоцанной кофейной кожей и затершимся ликом. Ни буквы не разобрать. Зато на обеих сторонах форзаца, дважды зараз, клерикально черным пером было высечено – Камо грядеши? Ладно бы один раз, тут понятно: название, утопленное в обложке, вынырнуло с другой стороны. Но второй вопрос как будто в душу глядел. Куда идешь? Я смотрела в эту рябую бумагу, как в зеркало, и безответно молчала. Куда иду? Господи, да разве ж я знаю? Куда-то туда, куда давно не надо.

Книгу эту, наскоро сунутую продавщицей в замызганный

файл, я тоже усыновила, обменяв на тысячу, свернувшуюся калачиком в кошельке. Всунула ее в утробу сумки, пахнувшей переспелыми бананами, и грубой резиной скатилась по лестнице. Два года. Не верится, что уже почти два года. Хочется все забыть, распомнить, развидеть. Особенно кликушу эту на похоронах, в веселой махровой шапке. Милая, да как похожа-то, а, как похожа! Вылитая бабка! Все что угодно, когда угодно, но только не тогда. Справедливая, но неместная фраза эта застряла в моей голове, навсегда въелась в розовое сало и продолжает напоминать мне тот самый момент, когда я вдруг, своими же глазами, увидела, как батюшка прочтет разрешительную молитву – надо мной. Как будут хоронить меня. Вот, стало быть, ради чего нужны старики и отпевания: там почти любой уснувший невидимо стучит своим морщинисто-скрюченным указательным пальцем по левой руке, напоминая пришлым, что времени не так уж много. И что камо грядеши.

С тех пор я каждый день боюсь умереть. Каждый день слышу, прямо через многоэтажность кожи, как ухает, колотится мое сердце, чувствую, как переключаются его клапаны, режимы. Как качается наэлектризованная машинная кровь. И так жутко от того, что дергается только лево, без право. Сразу думаю про половинчатый паралич, я видела его однажды. Ведь тот человек, засыпая, наверняка не предполагал, что завтра окажется еще не там, но уже не тут – прямо как сестрин ухаль. Что ложе придется делить с умершей полови-

ной себя – и не привыкать, если который год спишь с тем, кого давно разлюбил. Это я видела не раз.

У всякого стука – функция страха и освобождения. Вот, еще одна секунда твоей водянистой жизни прошла, бездумная и подловатая. Кардиолог говорит, что нормальный человек свое сердце не слышит, но я слышу постоянно, стало быть, все подозрения в собственной унтерменшности вполне оправданы говором крови. А ей все неймется, заразе. С разбегу бьется в покатые грязноюдные стенки, в истерике что-то лепечет, пытаюсь то ли предупредить, то ли напугать. Даром что привыкла обходиться без кислорода.

Иногда посреди ночи я нахожу свое тело проснувшимся в позе трупа, на спине, со сложенными на груди руками. Говорят, так спят буддистские монахи. Довольно символично, учитывая, что *memento mori* – моя ежедневная, облюбованная медитация. Я это делаю неосознанно, в приступе паники разума, считающего смерть крайне несправедливым изобретением, ведь она забирает сознание, на чью простройку уходит целая жизнь. Сознание, в отличие от кожи, не стареет – я точно знаю, – оно может только взрослеть. Старики, под конец открывшие Еврипида, – разве не пример? А отправить к скучающим праотцам то, что еще не выросло и не вырастет, потому что дверной плинтус всегда будет выше, может только фанатичный детоубийца. И эта неуютная мысль лезет мне под ногти с ежедневным исключением солнца, со скоростью тех живчиков цвета прокисшего кефира, что древние

греки сравнивали с пеной. К этому регулярному ментальному онанизму я уже привыкла. Какая, в сущности, разница, кто умрет первым – я или мир. Без меня его попросту не будет существовать. Он взорвется и истлеет прямо в моих потухших глазах. Интересно, кто их будет закрывать.

Сны я вижу соответствующие, если вообще их вижу. По большей части они пустые и темные, как у новорожденных, а все персонажи там почему-то грустные, озадаченные, словно не могут вспомнить, закрыли ли дверь на ключ, когда утром выходили из дома. Расскажу один, мой любимый. Я стою где-то в районе Китай-города, на одной из его тихих улиц со вспенившимся асфальтом. Предзакатное лето, теплынь, вокруг ни души. Пахнет прогретым железом. Все бы хорошо, только я сильно нервничаю, переживаю, неприятно прею, потому что прямо сейчас мне надо сделать какой-то сложный выбор, решить какой-то свербящий вопрос в духе Иова, или – или. Хоть убей, не помню, в чем было дело. Решаю кинуть монетку, отписав каждому из вариантов по одной из ее личин. Мы ведь так делаем не чтобы довериться выбору, а чтобы узнать у глубины себя уже принятое решение. Потому что пока монетка крутится в воздухе, мы просим ее упасть какой-то определенной стороной – то ли решкой, то ли орлом, смотря что чему раздали. В конце концов, и пророки бросали жребий. И вот я, сощутив глаза, с залетом правой руки и стуком в сердце подбрасываю монету вверх, приготовившись к слову стального оракула. Проходит секун-

да, две, три, а монеты все нет. Испуганно поднимаю глаза и начинаю всматриваться в слепящую тишину. Пусто. Так, с запрокинутой головой и с фокусом на всполохах умирающего дня, я простояла во сне несколько часов, пока не стемнело. Монета так и не вернулась. Русская поэзия бы на это сказала: ответ один – отказ.

Я помню это саднящее ощущение собственного бессилия сразу после пробуждения. Выбор не сделан, монеты нет. Я понимаю, что во сне все всегда на своих местах, это система закрытая, герметичная. И если я подкинула монетку, то там, на условном верху, кто-то с детской забавой ее поймал, лишив меня определенности и решения. Или – или? А может, ни – ни? Может, монета не вернулась, потому что есть другой, третий путь? Или правда за бездействием? Но гадать смысла нет, хоть я и продолжаю – переменные не заданы. Сон вполновину недостроен или забыт. Но в небесной татьбе сомнений нет, святые сподличали. Кстати, не в первый раз.

Много чего в моей жизни приснилось, случилось и пережилось, и психолог, которого у меня нет, посоветовал мне найти доброжелубного собеседника и устроить с ним что-то вроде эпистолярной исповеди. Или писать самой себе, как говорится, в стол. Была идея завести дневник и скидывать правды туда, но на него нужен земной покой, а у меня его с лобик кошечки. Да и если вести, то только как государь император, по-аглички и чернилами, а самое страшное выводить карандашом. Но английский я никогда серьезно не вос-

принимала – мой отец читает на полу-нём свои фиолетовые веления. Лет двадцать пять – тридцать назад, то есть приблизительно как раз к моменту моего рождения, он вдруг ответил от чистокровного христианства и присоединился к какой-то американской секте, восстановившей якобы утерянные учения Иисуса Христа о карме и реинкарнации. Странно это. Мой отец ненавидит Америку.

Из его рассказов мало что ясно. Ребенком он жил с матерью матери и почти ежедневно прищуренным глазом наблюдал, как она прячет икону Николая Чудотворца, завернутую в марлю, в кухонные шкафы, туда, где крупы хранятся. Икона эта его чудовищно бесила, и он время от времени дразнил бабушку высоковольтными выкриками, что бог беспочвенное говно и он все расскажет соседям. Она его не лупила и голос не повышала. Просто сквозь зубы коварно шипела: «Помяни мое слово: Он тебя на том свете заставит языком лизать раскаленную сковородку». Только из-за этой фразы я и пошла однажды к ней на могилу – выразить уважение.

Потом в стране умер красный изм, и отец, как он говорит, прозрел. Молочными ручонками потянулся к святыням. Семья на тот момент раскололась окончательно, кто умер, кто пил, кто дрался на ножах. В одно из Прощеных воскресений отец позвонил всем близким родственникам, пригласил каждого в гости, а когда все собрались за столом, попросил примириться. Семью все-таки хочется, особенно когда она есть. Но и врученные друг другу прощения, сказанные под воздей-

ствием ноздревских кушаний и папиного молящего взгляда, мало что изменили. Кто как крови сторонился, так с тем и остался. Воззвание камнем рухнуло в воду, но круги от падения разошлись удачно, достигли нужного берега. Отца там уже ждали.

К общине этой он прибился благодаря объятиям нового друга и силе изреченного слова – доподлинным историям из жизни людей: тех, кто спасся, исцелился или проехал зайцем в электричке, читая защитные веления минимум по двадцать минут в день. Если вслушаться, то молитвы эти – доброкачественное звукоблудие. Не исключаю, что вера только с ним и работает. Перманентная любящая бытность я призывает облечь столпом света из личностного всесильного присутствия бога да беречь его неделимо любой текущий миг явленным как искрящийся дождь изумительного божьего света чрез который никогда не сумеет пройти ничто людское и в этом удивительном гальваническом кольце священной настроенной энергии призвать стремительный всплеск сиреневого пламени милующего изменяющегося огня освобождения что безлетно возрастающая сила сиего жара отображаясь книзу в энергетическое поле собственных человеческих межзвездных импульсов целиком изменит любое негативное положение в позитивный полюс моего индивидуального бессмертного истинного я и волшебство его сострадания настолько омоет светом мой мир что любого поприветственно мною возблагодарит флер васильков прямо из подлинного

сердца бога помня о сладостном утреннем дне когда все противоречие мотив итог указание и реминисценция вовек превращается в торжество света и пространство воскресенного иисуса христа безостановочно я осознающий сегодня тотальное всевластие и выражение сиего повеления света и зовущий его сиюминутное деяние непосредственно наделенным богом независимым зовом и силой безгранично приближать это непогрешимое проявление поддержки из прямого сердца бога до тех пор когда все мы получим вознесение в мире вовек вовек вовек не увядающем. Всю подобность отец читал на двух языках зараз – сначала на русском, а потом на английском, хотя по-английски он не знает ни слова. Все потому, что эта американская духовная доктрина говорит, что английский – язык ангелов. Шах и мат, патриоты. Beloved I am, Beloved I am, Beloved I am.

Мне было все равно, чем тешился отец. Как-никак учить другой язык через веру – тоже неплохой профит. Но становилось совсем уж невесело, когда на все праздники, в личном или в государственном календаре, он с глубоким салатным выдохом, как будто что-то вспоминая, желал нам с сестрой встретить свое близнецовое пламя.

– Девчоночки мои, – ритуально начинал отец, – вы все это и так без меня знаете, мама ваша часто туда клонит, ну и я, стало быть, наклонюсь, только со своей стороны. Я коротенечко. Мы все здесь живем свое очередное воплощение, не только чтобы научиться или все такое, но чтобы познать-

миться, войти в контакт со своим близнецовым пламенем, своей половинкой. Сейчас такое очень интересное время идет, когда как раз открыт портал и близняшки могут встретиться вот прямо тут, на Земле. И для рождения световых детей тоже время хорошее, но это пока нам не грозит. Хе-хе. Щас, глотну. Так вот. Близнецовые пламена встречаются, чтобы в паре пройти путь вознесения или освобождения именно вместе. Эта миссия колоссально сложная. Поэтому эти встречи так редко и случаются. Придется потрудиться, постоянно повышать уровень собственных вибраций, это такой регулярный духовный труд. Ладно, я сильно на своем мнении навязывать не буду. Просто идите за сердцем, внимательно смотрите по сторонам, а когда того самого встретите, то сразу поймете, очнетесь будто, как в себя заглянете, себя обретете. Там такая буря чувств начнется, ой-ё. Мотать будет по всем семи чакрам, мама не горюй.

Мы с сестрой благодарственно чокались с отцом соком в хрустальных стаканах (алкоголя он не пил), и все молча продолжали застолье. Понятно, что все это он говорил искренне, подученно, но от души, желая дочкам удачно влюбиться, но у меня с детства где-то в глотке застряла стойкая уверенность – весь этот спектр чувств отец знает не по тайной наслышке. Не стоило даже и пытаться себя лицами в семейных фотоальбомах, чтобы понять, что мама не была папиным близнецовым пламенем, с какой спички ни зажигаешь. Это было видно по тому, как они не могли находиться вместе в одном месте:

в магазины ходили врозь, ужинали в разных комнатах. И спали тоже. Ничего общего с нравами европейских аристократов это не имело, мы семья простая, рабоче-крестьянская, без оттопыренных мизинцев.

Любви в браке моих родителей не было, одни страдания, избегания. Удивительно вообще, как эти совершенно далекие друг от друга люди смогли прожить столько лет вместе. Наверняка именно в этой двусмысленной наследственности и кроется тайна нашей жизни вполсилы. Детей они не могли завести долго, лет десять, чего только не делали – и лечились, и к бабкам ходили. Безрезультатно. В конце концов, решили расстаться по тихой грусти – бог, видать, не дал. Но бог – еще тот садист, стелет к себе дорогу через ад земной, развлекается и брызжет слюной, прикрывая рот ладошкой. После того тяжелого разговора на кухне не прошло и месяца, как мама забеременела. А потом, неделе на двадцатой, они поехали на озера с отцовым братом, любителем поездок с ветерком по челябинским дорогам. «Зачем только села?» Машину конвульсивно трясло около часа. Через пару дней у мамы случился выкидыш. Неизвестно, что стало причиной – скорость и уральские колдобины или детский испуг. Может, он, этот наш первый, просто в какой-то момент понял, к чему все идет. Через пузырь нашупал эту зловонную пустоту жизни и решил, что нет, не хочет. Наверняка попробовал предупредить сестру, но той всегда было плевать на чужое мнение. А до меня руки просто не дошли.

Родители прибились друг к другу по вполне понятным причинам – огульным решением жизни ни тот, ни другая не знали, что такое любовь. Отец ушел любить в религию, мама – в детей, забывая о возрасте и приличиях. Семейная ойкумена бодрилась только с приходом гостей и праздников, когда стулья кочевали из спален на кухню, включались фотокамеры и на зеркале в ванной гуашью рисовались поздравления. Мы жили вместе, но не знали друг друга. Это становилось особенно ясным в ссорах по пустякам, доходящих до хлопаний дверьми, застенных слез и кровной вражды. Отец тогда вел себя как чужой, нестабильный элемент, говорил, что все хотят, что делают, оглушенно запирался в телефоне или по-женски кричал, чтобы мы немедленно заткнулись, потому что соседи услышат. Или богомольно шептал в чашку чая, зачем на себя нагнетать пристальное внимание.

Отца я понимала лучше, чем мать. Та всю жизнь о чем-то молчала, и это что-то висело в ее глазах освежеванной тушей. Я знала, что нам она рассказать не может, что это как-то связано с семьей или ее прошлым, и даже сверхмерный алкоголь не мог его раскачать. Так хорошо она себя выдрессировала. Собою же данное прещение выливалось у нее в разные болезни – от физики до психики. Она страдала ночными приступами нехватки воздуха, сдавливанием в груди и зажимами в шее. В глазах ее никогда не потухал предыстеричный, водянистый свет, готовый разлиться при самом легком нажатии. Но плакать при детях она себе не разрешала,

пряталась то за паром утюга, то за нарезкой лука. Или сгла-
тывала слезы подозрительно беспричинным комикованьем,
особенно неудобным в моменты сложных уроков или под-
ростковых драм. Я не помню, чтобы она была просто рада
жизни, просто довольна, просто нормальна. Ее бросало из
состояния в состояние – срединных почти никогда и не бы-
ло. Никто из нас не знал, как ей помочь, да и нужно ли, по-
этому мы с сестрой просто хорошо учились, а отец просто
тихо ходил на службы, выплескивая всего себя в гул братьев
с зажженными свечками.

С возрастом маме стало еще хуже. Дети выросли и уехали
в столицу, поступили в университет, и вместе с ними уехал
весь смысл ее жизни. И если раньше она смотрелась в нас,
то теперь – в обычное зеркало, и видела там то самое, зре-
вшее годами, как подкожный прыщ, болючий и ноющий. Она
звонила нам почти ежечасно – «А видео, видео включи!» – и
рассказывала про цены в магазинах, соседские рейвы и овну-
чившихся подруг. Ей хотелось, как они, – родить еще одного
или двух во втором колене, спрятаться от жизни в знакомом
– в детях. Такой себе паллиатив. Мы же с сестрой давно пере-
стали быть детьми – с тех пор, как не влезли в дворовые каче-
ли. Мама наверняка понимала, что пересматривание фото-
графий двадцатилетней давности не воскресит ее малышей.
Но она пыталась видеть их в нас через нас, в тех, кто будет
далее. Отцу этот план тоже был выгоден. Так как офици-
ально позволял ему выключиться из семьи на пару лет, а по-

том неожиданно включиться, вернуться в нее, что называется, с новыми силами, сказав, что все его молитвы сбылись. Поэтому единственная тема наших разговоров, где мама с папой участвовали наравне, – строительство личной жизни. Ведь теперь ценность их дочерей измерялась в возможности внуков и удачного брака. Удачного, а не счастливого. Нам не светило ни то, ни другое.

Ладно я, со мной все было понятно сразу. Но иное дело – сестра, вот за кого обидно. Науськанная отцовским вариантом истории про андрогинов, она осознала необходимость отношений еще в детском саду. Эта идея впиталась в ее тонкую кожу, катализировалась диснеевскими мультиками и обратилась в веру, что самого себя недостаточно и что цель жизни – найти свою любовь. Сестре постоянно не хватало кого-то второго, того, кто подтвердил бы эту систему личностного восполнения, кто лег бы последним пазлом в финальной картине.

В юности она влюблялась быстро и бездушно, как программа, выбирающая случайное число. И конечно же, в тех, кому она была совершенно неинтересна, абсолютно не нужна. Сестра делала все, чтобы убедить мужчин в обратном, взорвать эту матрицу и перекроить ее по-своему. В ход шли кулинарные изыски, игры на слабо, изучение истории русского рока или американских фантастов. Она выпытывала из своих жертв все интересы и слабости, изучала их с дотошностью психически нестабильного аспиранта и так заполня-

лась сама. Одиночество, пусть и временное, ее убивало (даже уроки делала с включенным радио), и она Ионой занывалась в пустых людях, до скуки в них плескалась и только после вылезала на свет. Такой же голой, как и была.

Важное десятилетие молодости сестра прошарахалась черт знает с кем, и к началу четвертого жила не одна и не в браке, а, как сказал бы отец, в кармической связи – со мной. В ее неудачах я винила понятно кого, сестра – судьбу, искренне не понимая, почему ни с одним из бывших у нее не сложилось. Что бы ни происходило, она продолжала слепо верить в обязательную вторую половинку, которую она со слюной у рта прождала почти двадцать лет. Напрасно. Одна из ее немногочисленных подруг как-то посоветовала сестре прекратить поиски и заглянуть в себя, мол, все ответы там, ведь отношения с людьми – это проекция отношений с самой собой, понимаю, шаг нелегкий, но его нужно сделать, и осознание проблемы – уже половина решения, надо просто поблагодарить свой страх за заботу, сказать, что во мне достаточно силы, мудрости и решимости изменить жизнь, и двигаться вперед, к целостности и лучшей версии себя, за что и была послана на хуй.

В какой-то момент я поняла, что сестра устала. Устала от сита под сердцем, куда проваливались все ею встреченные. Разочаровалась в поиске и в отцовских словах. Мужчин она стала брать как бы в кредит, женатых – часто, и накормленных – всегда; тех, с кем не надо возиться, кого не надо впе-

чатлять, за кем не надо ухаживать. Ничего не требовала, на семью не покушалась и истерик не закатывала – просто жила где-то перед собой и принимала все, что предложат, а там – что бог пошлет. И он посылал их в нашу московскую однушку не часто, а так – время от времени. Все были разные, но в чем-то похожие, безучастные, с какой-то одной застывшей эмоцией на лице. С белесой кромкой засохшей слюны на толстых губах. Иногда казалось, что сестру они даже не видят, не узнают, смотрят будто насквозь, воспринимая все происходящее как сон или сон во сне. Все они были неправдоподобно приличные, тихие, окольцованные, про которых «никогда бы не подумала», и я сразу представляла лица их жен или матерей, если бы те вдруг узнали, что их дорогой задерживается на работе не свойственного ему характера. Сестру все эти детали, по-видимому, совершенно не интересовали, равно как и блеск желтого металла. Она продолжала молча пополнять свою кунсткамеру, проживая вертикаль эмоционально-нравственной свободы – от выученных уроков, времени и надежд.

После двух-трех таких непродолжительных историй сестра стала часами просиживать на покатом краю кровати, слушая петербургских рэперов, ссутулившись, натирая большим пальцем правой руки ноготь на большом пальце левой, прямо как мама, когда нервничает. Эта сцена почему-то сразу напоминала мне ту, что часто повторялась в детстве – сестра играла во вдову, обернув голову черным платком и

поставив перед собой зеркало. Плакала она очень горько, как взаправду, неостановимо, заразительно, чего после не случилось никогда. Испуганные наши родители приседали, заглядывали в мутные детские глаза и спрашивали дочу, что такое. А доча шлепала намокшими губами из-под самодельной вуали и, солено заикаясь, говорила, что у нее умер муж и она скорбит. Просила всех оставить ее в покое, кроме воображаемого друга покойного – единственного, кто способен ее утешить. На руках она держала спеленутую куклу, качала ее даже на бестелесных похоронах, – родная кровиночка ведь, все, что осталось от почившего супруга. Рассказал бы кто про ловцы слез, тут же бы намудрила, за края бы лилось. Никто не знал, почему этот жуткий сюжет стал основным в ее детских играх и тянулся лет до десяти. (Отец, конечно же, быстро нашел всему объяснение, сказав, что ребенок еще помнит прошлое воплощение, а там мало ли что творилось, ну или приспосабливается к этой реальности, и вообще оба варианта имеют на жизнь.) Не знала и я, почему теперь сестра напоминала шестисемивосьмидесятилетнюю себя. Может, хоронила их всех, а может – что-то свое. Как я тогда, зимой.

Мои детские игры, кстати, тоже были на уровне. Когда мне исполнилось восемь, мы переехали в старый город, в другую квартиру, побольше и похуже, и отец дал залп к началу ремонта длиною в жизнь. Со стен сошел обойный эпидермис, полам вспороли брюхо, и все три комнаты превра-

тились в декорации к съемкам про Вторую мировую – я начала играть в блокаду Ленинграда. Ела мамин куриный бульон скрюченной алюминиевой ложкой, которая гнулась в разные стороны, как продажная балерина, заблаговременно очистив его от всего, что имело вес, и оставив одну только вспотевшую воду. Тарелки я выбирала исключительно походные, с отколотыми боками и трещинами, которые в садах и на дачах, смотря кто что как называет, ставят у входной двери – для кошек или собак, своих и пришлых. Мне нравилось представлять, что за стенами людей давит катастрофа, рвутся сердца и режутся серебряные нити жизней, а я тут, дома, на кухне, пытаюсь выжить на воде, хлебе и высушенных чайных пакетиках. Всю еду, которую мама любовно заворачивала мне с собой в школу, я закапывала за углом дома, под кустами сирени, как только выходила из подъезда. На черный день. Шла на уроки, оглядываясь, не следят ли переодетые немцы, а если замечала подозрительного персонажа, то добиралась до пункта назначения перебежками. Очевидно, что мне уже тогда было мало внутривенной войны.

Лесной абсурд этот продолжался около года, пока родители всерьез не обеспокоились моим нездоровым вечерним аппетитом и вечно бурыми манжетами. Блокаду пришлось прервать. Но наши голые, проскальпированные стены никак не давали мне покоя, с каждым днем эпичнели, заворачивали своим режущим холодом, если чуть не дотронуться до них кожей на щеках. Я гладила их, нюхала, разрисовывала

мелкими, всматриваясь в их чалую щетину, и благодарила за то, что они стоят. Отгораживают. Дамбуют. Хранят. И новая игра родилась сама собой – я начала их простукивать, ища там наверняка спрятанный клад вроде драконьего яйца, красного мешка с золотом или утраченных исторических документов. Ведь находит же кто-то монеты времен царской России в замурованной бутылке из-под кефира или в спичечных коробках – чем наши стены хуже? Я много наблюдала за отцом, за звуком от удара его жилистых загорелых костяшек – сначала по надутым августовским арбузам, потом по этим обритым мюрам, когда он с хирургическим прищуром прощупывал невидимые пустоты. Если ответ был глухим и закашлявшимся, отец одобрительно кивал, а если бодрым и счастливым – хмурил и обводил болячку цветным карандашом.

Мое исследование стен, как правило, шло по ночам, с фонариком и миской молока – где-то я прочитала, что оно используется в качестве невидимых чернил. В неполной темноте оно, упершееся в гладкие изгибы фарфора, казалось мне почти черным, а иногда – совсем черным, вроде моря после заката. Я по-отцову вытягивала вперед первую указательную фалангу правой руки, вот как-то так, чтобы было ногтем на себя, и приступала к обходу. Стучала хило и неумно, а так, звукоподражательно, как люди, изучающие другой язык. На любой сомнительно здоровый говор – припадала горячим ухом к стене и не дышала, слушала. Приняв решение,

крестила место пальцем, окунутым в белую воду, а если его не хватало, то двумя, по старинке. Иногда от моего неосторожного движения молоко, прижатое к животу, выходило из берегов холодной плоскости и жгуче струилось по голым детским ногам. Ай. До кухни было ближе, чем до ванной, и я босила туда, стягивала влажное полотенце, пропахшее завтраком, обедом, ужином, и вытиралась им. Идти мыться было слишком опасно – вода зашумит и кого-нибудь разбудит, придется объясняться. Поэтому я сразу шла в кровать, чувствуя, как липкая, застывшая на ногах жидкость стягивает волосы в узел. Утром, распахнув одеяло, я щурилась от сытого, животнo-сладкого запаха, вызревшего за ночь под толстым слоем пуха. Так пахло дома у бабушки, когда она садилась пить растворимый кофе с нюмилки экстра, две ложки, банку поставь на место. Так пах мой лоб, когда я родилась. Так пахнет смерть, которая уже ушла или скоро придет.

Что-то похожее и теперь висит в воздухе, когда я просыпаюсь, уставшая, поздно, около четырех. Незадуваемая свеча в моем позвоночнике горит всю ночь: бессонница – моя работа. Она заставляет меня искать что-то или кого-то или что-то и кого-то вместе, но ни того, ни другого не удалось до сих пор застать на своих местах. В темноте, кстати, иногда слышно, как дышит собственная душа, так тяжело и страшно, как будто следующего выдоха не будет или в тебе сопит кто-то голый. С телом она работает посменно, и неясно, кто из них налил мою грудь, которая, кажется, вот-вот лопнет, но

не от вязкой питательной лавы, а от мыслей весом в новорожденного ребенка. Самое противное в том, что не спишь, — звуки. Летом слышно, как поднимается зеленое утро и птицы, которых я никогда не вижу, вскрывают тишину своими лужеными глотками, способными разбудить левиафана. Зимой все открывает глаза, когда сосед снизу начинает прогревать темно-синюю четверку, купленную в конце девяностых за доллар в тридцать пять рублей, и счищать наледь с лобового стекла пластиковым беспонтовым скребком, позволяя божьей матери следить за дорогой. И то, и это значит, что сон откладывается еще на пару часов, пока все не выгуляют своих психически нездоровых собак и не уйдут сидеть — сначала в метро, потом в офисе, сжевшая жизнь в сливное колено. А когда отключают батареи, в мае, становится совсем кисляйно — разинутый рот духовки на сто шестьдесят пять градусов и вечно холодные ступни, сжимаемые под тонким застиранным покрывалом, метящим в одеяла. И пока поверх не набросишь фиолетовый халат из дубового флиса, гусиная кожа не сойдет. Кроме как из самой себя тепло мне сосать неоткуда.

И все же под утро, перед возможностью сна, словно оправдывая двойную кровать и на что-то надеясь, я кладу рядом с подушкой какую-нибудь книгу, написанную мужчиной. Что-нибудь из классики или почти. И я знаю, что это лучшие ночи любовно-конвульсивной страсти, которые у меня когда-либо будут. Я сплю с Набоковым, Достоевским, Гоголем

и Сологубом. Лондоном, Джойсом, Готорном и Рембо. Арденном, Бартом, Валери, Гессе, Д'Аннунцио, Есениным, Жене, Захер-Мазохом, Низаном, Оденем, По, Рильке, Салтыковым-Щедриным, а иногда – и даже часто – со всеми разом, до самой «я», и от мысли этой сладко подергиваюсь телом, будто *Orgyia magna* – крыльями перед исчезанием во времени. Вернувшись ко дню в саму себя и прорвав глазами соленую пелену, я тянусь горячей рукой к изголовью кровати, щупаю твердость обложки и пытаюсь, как слепцы, кожей ладоней определить чье-то лицо по изгибам. Этот ритуал неизменен и свят, ведь ничто другое не рождает во мне такого сильного чувства собственной молодости, которую я отдаю достойным ее. Достойным меня. И чужого вздоха не надо. Слово ведь живет без жизни, без кожи, оно ходит, лежит и блюдет, семеноточит, смотрит на мое добровольное наложничество, согревая меня, как девственница в постели Давида. И мне тепло, очень тепло. Аж до пота.

Ночь, она моя, женский род. Единственная устойчивая, ничем не рушимая однополая связь в моей жизни, на которую меня кто-то когда-то проклял. Мы регулярно остаемся тет-а-тет, при бледном свете того, что не дает тьме расти, и говорим исключительно глазами. Она – требует благодарности, я – покоя. Она задает вопросы, я ставлю восклицания. И каждая из нас – начало гибели другой. В сущности, преступная любовь эта не страшна, а чудовищно выгодна: она свободна и стерильна, она рождает только удовольствие, не

отягченное ни беременностью, ни семьей. Не то что с днем, с этим улыбчивым деятельным женихом – садистом, натренированным на искусстве блуда, от которого ты ежедневно должна зачинать списки невыполнимых дел, уверенные галочки, результаты, результаты, результаты и идеальный, вот уж по-настоящему дивный новый мир. Но жених не юноша, а старик, хохочущий сквозь желтые треснувшие десны, и ты, однажды это осознав, вечерами бредешь домой, прикрывая опозоренную грудь и прислушиваясь к скрипам там, внизу. А вдруг? Что думаешь делать? Одна? Но, слава богу, от ночей проблем таких не будет – она плодотворит, не оплодотворяет. Ребенок от этого союза не родится, просто не сможет, не сформируется, а значит, никто из нас троих и не умрет, и не выживет, и царства не унаследует. Самое страшное преступление, которое можно совершить в этой жизни, – кого-то убить или стать родителем, что одно и то же. Заставить другого сделать не свой выбор и обречь его на вечный стыд. За все, что носится над ним с той самой минуты, как он своим пустозвонством прорвал пузырь. За всех. За самого себя, свое имя, свое тело, свои мысли, свою душу, свои мечты, свои вопросы, свои страдания, свою старость, которой не избежать, даже избавившись от всех зеркал в доме, но не от главного, отражающего сверху вниз. Мы же тут не на земле, мы в земле. Мы все дети мертвецов, прошлых, настоящих или будущих. Возникли из ниоткуда, из минуса, из нет. Завелись в животах счастливых, не очень или вовсе не ма-

терей, сварились в их молоке, заплатили смертью за смерть и разошлись по своим углам. Кто втыкать, кто принимать. Кто извергать, кто подтекать. И если говорят, да, что человек – сын божий, то бог, если у этого слова вообще есть какой-то смысл, черт бы его побрал, не пресыщающийся отец-некрофил – только и делает, что пополняет гербарий трупов, насильно возвращая природе то, что никогда ей и не принадлежало. Как ей, должно быть, противен этот вечный сон-час в детском лагере, эта кадавральная коммуналка, которую ни ликвидировать, ни расселить. С каким, должно быть, отвращением она поглощает еще влажные, шевелящиеся кости тех, кто опять успел наследить, зацепиться. Кто мы. Откуда мы. Кто нас позвал. Почему заставил воскреснуть в Аду. К чему здесь прилепляться. Скучает ли по нас брошенное беспамятство. Когда домой?

Активация

Метро старательно меня укачивало, пока я ехала на главпочтамт отправить очередное письмо одному еврею без определенного места жительства, от которого я до сих пор не получила ни одного ответа. Видимо, не разбирает мой почерк. Москва, к слову, много читает в метро, за годы своей рептильной жизни под землей я изучила ее читательский вкус лучше, чем собственный. Почти ежедневно я записываю все книги, что вижу в руках у пассажиров, – в вагоне, на станции, на эскалаторе. Заглядываю под обложки, гуглю высмотренные фразы. В моем списке – больше двух тысяч имен своих или чужих, мертвых или живых, уже известных или тех, кого я так и не узнаю. Времени просто не хватит. Потому-то во всех книжных такая скорбная атмосфера – там на людей с полок смотрят как прошлое, так и будущее, которые никогда им не будут принадлежать.

Какой спокойный пульс, какой ровный! Ничто ее не волнует господи какой же угрюмый год надо будет зайти к ним в гости посекретничаем про россию на кухне *У меня довольно спокойный сон. Какая вы счастливая!* только бы с рук побыстрее сошел этот тошнотный запах крови скоро опять это все начнется кровь таблетки стирка *Матушка, вы еще больше озябнете. Вы правы; до свидания, дружок,* как вообще себя выносить эти все родинки он когда сказал что одна есть

прямо там я вспомнила сразу фото той обрызганной американской актрисы *до свидания, я ухожу*. Однако она не уходила а потом как-то резко стало обидно что я ее увидеть не смогу только через зеркало или если кто-то сфотографирует но это просто же какое-то позорище *и продолжала на меня смотреть*. Две слезы скатились из ее глаз. ничего у меня не получается ничего не получается все валится из рук такое впечатление что обе левые как говорят французы *Матушка*, – воскликнула я, – *что с вами? Вы плачете?* так спокойно это пройдет это пройдет когда-нибудь это все закончится и я вдруг обнаружу что правая на месте а может даже две правых *Как я жалею, что рассказала вам о моих горестях!..* вот вроде бы не так мне и много лет еще не выросла а уже старуха все наверное потому что *В ту же минуту она закрыла двери, погасила свечу и бросилась ко мне*. я люблю носить черное но какой мужчина захочет целовать женщину в черном *Она заключила меня в свои объятия, легла рядом со мной поверх одеяла, решить либо нет либо сначала и по другому боже мой да у нее все руки в кошачьих лапках прижалась лицом к моему лицу и орошала его слезами*. Она вздыхала и говорила жалобным и серьги наверное из ушей не вынимала лет пятнадцать с самой материной смерти *прерывающимся голосом*: надо подтолкнуть себя заставить как то преодолеть отвращение от того что выплевывает моя рука когда я пишу когда я дышу господи *Дорогой друг, пожалейте меня!..* когда у кого началась эта ненависть к себе у них в екатерин-

бурге что ли когда мне не дали забрать этот бумажный дом оставили себе сволочи *Матушка*, – спросила я, – что с вами? Вы нездоровы? Что нужно сделать? да ладно наверное когданибудь у меня получится смотреть на себя и на них чуть снисходительнее с принятием надо просто привыкнуть с ними сталкиваться и терпеть этот нахальный почерк *Меня трясет*, – прошептала она, – я вся это все паршивая хохлацкая лень как говорит отец а что если они все правы что если они все что то поняли узнали а я над ними смеюсь *дрожу*, смертельный холод пронизывает все мое тело. Хотите, я встану и уступлю вам свою постель? вдруг он есть даже если его нет а эти комнаты что они значат все в каком то красном бархате коридоры коридоры море кидается в окна Нет, – сказала она, – вам не нужно вставать, приподнимите немного одеяло, я лягу рядом с вами, согреюсь, и я бегаю ищу и не нахожу двери все открыты из комнаты в комнату из комнаты в комнату а он кстати уже не в первый раз и все пройдет. *Матушка*, но ведь это запрещено. Что скажут, если узнают об этом? а мама же видела говорит помнит как сидели с бабушкой на лавках каких то было много людей а потом все замолчали и оно вплыло и такая благодать по телу даже не знаю как описать *Случалось*, что на монахинь налажали епитимьи и за меньшие провинности. вот мне смешно а вдруг правда что значит меня накажут за все не раскрашенные яйца *В монастыре Святой Марии одна монахиня* за этот мой двуликий бюст одна грудь от лилит другая от евы вошла

ночью в келью к другой, к своей закадычной подруге, и не могу вам даже передать, как о ней дурно отзывались. ведь она же осталась там наверху а его спустили вниз вроде бы так говорил этот мужчина Духовник несколько раз меня спрашивал, не предлагал ли мне кто-нибудь ночевать со мной, а он бы без нее никого бы не родил потомства бы не завел и не понял бы что такое время господи какой кошмар так вот в чем дело и строго запретил допускать это. Я рассказала ему о том, как женщина это жизнь так а жизнь это время только она и подразумевает эту категорию а маленькие часики смеются тик так господи как странно что оба слова на ж значит где нет жизни там нет женщин афон что ли значит вторая а мы все вторая это наказание хуже смерти вы ласкали меня – я ведь ничего дурного в этом не вижу, – но он совсем другого мнения. Не понимаю, боже как красиво вышло прямо как русский хор как я могла забыть его наставления; я твердо решила поговорить с вами об этом. он наверняка все это придумал просто потому что ему было скучно а получилось просто смешно Друг мой, – сказала она, – все спят, и никто ничего не узнает. Я награждаю, и я наказываю, и, что бы ни говорил духовник, я не вижу дурного в том, что господи не могу видеть как она стареет лучше умереть первой чем это видеть надо использовать метод от противного как перемотать пленку назад как отец делал с видеком и картинки мелькали так быстро быстро подруга пускает к себе подругу, которую охватило беспокойство, которая проснулась и но-

чью, в кого тогда все уткнется если все вдруг резко сбросятся с ковчега современности получится ли обогнать смерть *несмотря на холод, пришла узнать, не грозит ли опасность ее милочке. Сюзанна, разве вам в родительском доме не приходилось* боже что за лицо оно же уже у нас выродилось перелелось как ты сохранился как подавил гнилое семя кто тебя продолжил какая то псевдогалльская внешность да сегодня вообще какая то настоящая круговерть фас а господи куда же дальше что дальше воля или судьба *спать вместе с одной из ваших сестер? Нет, никогда.* а вдруг это одно и то же самое трудное слово с детства как же все тут завязано на языке *Если бы явилась такая необходимость, разве вы бы не сделали этого без всяких угрызений совести?* какой то род ртов вот треснуло яйцо раз раз и свет разрезает глаз и сразу появляется это я не отвяжешься до самого конца фу блин совсем больной что ли только что трогал поручни теперь сует их в рот *Если бы ваша сестра, встревоженная, дрожащая от холода,* я меня мне мной без я нет ни нас ни вас ни всех никого нет да даже его нет без меня он же есть только когда *попросила местечко рядом с вами, неужели вы бы отказали ей в этом?* взываешь а все проблемы потому что никто не умеет общаться мир же это коммуникация как там про физику этот парень сказал тогда осенью а как вообще общаться если сам своей грамматики фонетики не знаешь *Думаю, что нет.* как там у этого на з знаешь язык значит умеешь вычленять основной смысл *А разве я не ваша*

матушка? я знаю я слышу но понимаю ли что бормочу себе под нос *Да, конечно; но это запрещено.* да что ж такое то почему же сегодня так хочется плакать так поскуливать глаза запрокидывать чтобы не полилось лишнее *Дорогой друг, я это запрещаю другим, вам же я это разрешаю* а кстати ж какого цвета коричневого наверное там еще есть немного смарагда и грязи боже кто придумал этот язык ошибаться можно только в мертвых *и об этом прошу. Я только минутку погреюсь и уйду.* а языкам туда путь заказан так вот зачем он нужен там языков нет да а он вроде и вовсе без них обходится внеязычный внеземной понимает тех кого никто тут не понимает *Дайте мне руку.* значит немые ближе а вдруг ну вот опять оно немые это те кто просто не слышит самого себя ну тогда мы тут все немые не мы мы не мы красиво *Я дала ей руку.* мычание мыться мыло мышка мытарство мыс мышление мысль мытищи боже мышцы мыкаться мышьяк *Вот потрогайте – я дрожу, меня знобит. Я вся заледенела.* что то вроде иностранцев значит когда никто не понимает а хуже если в семье как у дочери бродского кошмар жестокая шутка жизни *И это была суцая правда.* инстаграм¹ совсем обычный даже как то жутко что обычная такая ни о чем простая жизнь а каково это когда внутри течет кровь гения а ты даже языка его не знаешь не поймешь до самого дна сколько ни учи ни строчки не поймешь даже мы тут все не понимаем

¹ «Инстаграм» – продукт компании Meta, которая признана экстремистской организацией в России.

а в семье должно же быть по другому *Ах, матушка, да вы заболели. Подождите, я должна же была треснуть эта тайна* но черт наверное это и есть природа она так прячет самое ценное а какой-то анекдот забавно это и случай и неважная деталь и даже рассказчик что за лицо страшно такое ощущение что он и не умирал просто *отодвинулся на край кровати, а вы ляжете в тепло.* воскрес и пожалел в то же тело вселилась чья то другая душа не своя вот уж точно дети в которых нет верности такое кровоочистение *Я примостилась сбоку, приподняла одеяло, и она легла на мое место.* значит вышел из комнаты и совершил ошибку *Как ей было плохо!* которая живет дальше без ведома без глаза не то что мой вот кто все понял и сделал правильно умер и никого после не оставил просто отчеркнулся от жизни как и мечтал *Ее всю трясло как в лихорадке. Она хотела мне что-то сказать, хотела придвинуться, но* остался в полном покое в полном шаре вытек сам из себя вышел на плато и потерял аппетит к реальности он язык повиновался ей с трудом, она смог и я смогу не могла шевельнуться. а он же наверняка помнил про наказание в третьем четвертом колене да если мы все так хреново живем какой смысл ничто не прервется *Сюзанна, – прошептала она, – друг мой,* к чему тогда это вообще все *придвиньтесь ко мне.* говорит соседка умерла не такая старая просто шла шла и рухнула обвалилась а потом такие как этот мужик из видео с выглядывающей волосатой грудью простреленными зубами и манерами шифрина снимет

фильм как расчехляют твой дом *Она протянула руки. Я повернулась к ней* мы в квартире очень уважаемого человека я правда не знаю как его зовут но тут очень интересные новинки будет интересный контент а потом много интересных разборов ну и еще всякие всячины *спиной, она обняла меня и привлекла к себе; правую руку* скажет работы много бардак хозяева уже половину растащили ой нет спасли спасли конечно же спасли тут много прекрасных книжек было но нам они не достались как хорошо господи что у мертвых нет интернета они бы не выдержали вскрыли бы гроб как киддо в двестишестидесяти *она подсунула снизу, левую положила на меня.* надо научиться готовить пока мама еще жива страшно что будет она не страшна пока тебя не касается вот в чем все дело да мне все равно кто там умер *Я вся закоченела, мне так холодно,* невольно вспомнилась эта сцена писание забытое кем то в психиатрической клинике а что вообще происходит *что я не хочу прикоснуться к вам; боюсь,* господи кто все эти люди зачем они мне пишут *что вам это будет неприятно.* а ребенок этот сегодня это что было поздравляем у вас сын и тычут мне в лицо а у меня слезы текут обратно думаю господи за что какой сын я ни его ни дочь не могу не хочу мне не надо оставьте себе спасибо это была не я *Не бойтесь, матушка.* а он орет и кожа эта красная прямо с того света прозрачная только только натянули как сейчас треснет и пальцы эти гуманоидные и мы все провалимся и снова будут комнаты комнаты комнаты много разных с оди-

наковыми дверьми и надо найти какую то одну он там спит на кровати и не просыпается *Она тотчас положила одну руку* проснитесь проснитесь ну же у нас мало времени только не в землю только не туда вниз пожалуйста не так скоро не так рано *мне на грудь, а другой обвила мою* жизнь такая короткая оборваться может в любой момент вот даже сейчас вдруг врежемся я здесь сварюсь хрустнет позвоночник заест руки ты умрешь и ты и ты тоже умрешь вы все здесь умрете все все вы тут сдохнете а после себя *талию. Ее ступни были под моими ступнями;* я растирала их ногами, чтобы ничего достойного только все эти сто рецептов для жалобы обращения просьбы песни фото буквы такой антиклимакс цифровое кладбище никто никого не вспомнит и помним любим скорбим не считается это не то же самое что вот открыто так в полный рост и голос *согреть, а матушка говорила мне: Ах, дружок мой, видите, как скоро* чашечка горячего сюра господи кто это я не хочу туда мне еще рано но у меня еще вся жизнь позади как решиться где искать я не понимаю *согрелись мои ноги, потому что они тесно прижаты к вашим ногам. Но что же мешает вам,* вот они как счастливы квартира машина собака а я что а я где куда зашла эта боязнь стать кем то никто ничего во мне не понимает а я его ненавижу я его просто ненавижу за слепоту *матушка, таким же образом согреться всей?* у поисков есть финал никаких фотографий не осталось а кто то потом купит меня в лавке антиквара буду лежать в сырой коробке эта почем да забирайте за энэн

Ничего, если только вы согласны, — сказала она. Я не хочу не хочу не хочу не хочу так и вот так кто это придумал где мое место ну очевидно там где ты сейчас я записала хороший ответ не мой не мы ну вот опять эти немые это все равно что вопрос кого ты любишь больше повернулась к ней лицом, она спустила с себя сорочку, а я растянула свою, но тут кто-то ни того ни другого и с ними точно так же ни ту ни другую как выбрать а кто вообще меня спрашивал я может не хотела и стала бы судиться вон как тот сумасшедший американец три раза громко постучал в дверь. Перепугавшись, я сразу это значит окно в никуда и там эти афористичные фрагменты и вот этот хаос мыслей очень благостный соскочила с кровати в одну сторону, настоящая — в другую. Мы те кто вернулся что они там видели где были мама говорит туннель и свет все как рассказывают прислушались. Кто-то возвращался на цыпочках в соседнюю келью. Ах, — воскликнула я, — это сестра Тереза. Она видела, как вдруг это сон один такой большой сон может даже общий или мы все снимся кому то одному например а что такого смена такая вон как у отца сначала ты потом другие такой сон даже может и без начала спал спал а тебя разбудили внезапно оборвался и началось вы проходили по коридору и вошли ко мне. Она подслушивала нас и, наверно, а обратно уже ничего не вернуть а если да то ты не смелый а падший смерть смесь смеркается смерить смех смириться сметана разобрала то, что мы говорили. Что она смета смекать смеситель смести подумает?

смекалка уже было но все равно смятение нет там *Я была ни жива ни мертва.*

Чем-то удивленный автомат для выдачи талонов на по-лувздохе показал язык, и я вяло вырвала его. ПО33. Почти как мне. Ждать здесь своей очереди, в этом борделе единиц и нулей, как правило, приходится долго. Из вынужденных развлечений – русская ругань, калейдоскоп лиц и витрины с марками. Последние нужны мне, как и первые. Они ведь что-то вроде тайнописи и междустрочья, иногда могут сказать больше, чем разверзшееся чрево конверта. У меня тут есть любимые, намоленные, будто другим невидимые – если кому их и отправлять, то только самой себе. 2017 год, король Сиама Чулалонгкорн и император Российской империи Николай II, 1897 г., 22 рубля. 2018 год, Храм-Памятник на Крови, Екатеринбург, 27 рублей. 2019 год, 100-летие Государственного музея-усадьбы «Архангельское», 35 рублей. 2018 год, А. И. Солженицын, 1918–2008, 27 рублей. И сторублевки хватит за весь наш короткий XX век.

Сегодняшнее письмо мое хотело не как обычно – истории, святых или живописи у себя на соленом лбу, а какого-то позорища или угловатого сюрра, вроде вон той кровавистой марки с Марксом или с НТВ, больше похожей на оммаж инопланетянам. Уже не впервой замечаю, что эта почта будто практикует прием по ментальной готовности, ведь ровно в тот момент, когда я делала выбор и нащупывала в сумке ко-

шелек, из аквариумного пластика вынырнула женщина-оператор с улыбкой аксолотля и плоской, как планета Земля, грудью. Мысленно передав привет ее предкам (не с Урала ли?), я спросила, есть ли марки с Путиным, чего уж. Подпрыгнувшие брови женщины отвечали, что, конечно, нет, он же еще живой, на что я вполне серьезно сказала, ну ладно, тогда ждем. И пока ее нервно-икотный смех смывается слюной в желудок, я в таком случае возьму вот эту с Новым годом за двадцать три и давайте парочку историй отечественного пчеловодства, которые восемнадцатого, да. Будет такой ржавый оксюморон. Засветившийся терминал я молча покрыла банковской картой, и вот тут-то и встретились мои пальцы в чернильных язвах с почтовыми бровями, нарисованными по трафарету. Да, похожи.

Черной ручкой я заполнила бирку новорожденного письма, наклеила марки и столкнула конверт в пасть красного почтового ящика. Все, мой почерк переезжает в Европу. Надеюсь, что его приютят в *L'Autre Monde* или, если будет особенно хорошо себя вести, где-то недалеко от *Frohe Zukunft*. Может быть, он там встретит девушку, женится на ней, располнеет, раздобрееет, раздвоится или даже растроится, купит квартиру побольше, попросторнее, а если денежка позволит – целый дом, как и мечтал. Заведет собаку, будет плакать, когда она умрет от старости. Похоронит ее на заднем дворе. Выдаст своих замуж или зажен, подарит им что-то новое, что-то старое, что-то взятое взаймы и что-то голубое (синь

всегда знак). Отпустит тонуть самостоятельно. Потом начнет избегать зеркал, больше курить, наконец засядет писать или побежит фотографировать, не только цветы и пейзажи, а что-то свое – девочек-подростков, одноглазых, женщин в париках. Будет наблюдать, как кренится от ветра паутина, сцепившая крашенный забор и посаженное дерево. При большом желании ее можно будет намотать на палец, как сладкую вату, и вспомнить, как раньше, здесь, ее продавала грузная женщина с выжженными солнцем волосами, в коричневых сандалиях и с сумкой, рассекавшей грудь налаполом. Вкус – банановый. Большая – сто рублей, Средняя – пятьдесят, «Кроха» – тридцать. И все брали «Кроху», не из-за цены, а то ли из-за имени, то ли из-за кавычек. Расскажет про это внукам, а через год – еще раз. Изменит жене – не по злomu сердцу, а по неиспользованной возможности. Пожалеет. Обратит новой машиной и телевизором пошире, чтобы разглядывать тех, кто всегда сзади. Начнет раньше ложиться и раньше вставать. Стричься будет не у парикмахера, а у себя на кухне. Книги станет читать до середины. Свою – забросит. Пару раз забудет, где спрятаны деньги. Найдет старые фото. И вдруг заметит, как время выкипело в седину. Как отомстила кожа. Улыбнется, поплачет в себя и все проклянет. Закрутится в дождь на брошенных детских качелях. Раскручиваться будет разговорами с жизнью через точки и тире, насколько хватит букв. Потом до костей промерзнет, начнет прерываться. Замрет где-то под утро после удара тугой капли по бумаге. Про-

ститься не успеет, не с кем. Все спят, уже или еще. День – и найдут последнюю волю: что хотите, только не огонь. Они ведь горят, еще как – места живого не остается.

Реальность часто опаздывает, вот и тогда не успела подстроиться. Прямо напротив чайного домика, куда выдыхает почта, я увидела старушку в летней шляпе с обкусанной лентой, игравшую на скрипке что-то итальянское, так ель-еле, чу-чуть, с западающими звуками. Абсолютно не российская сцена. Не поднимая глаз, я положила в ее взывающий, застиранный пакет скупые пятьдесят рублей – за морщины, за воспоминания, за близкое ничто, тянущее ко всем руки. Я знаю, она будет здесь и завтра, значит, заплачу дважды.

Течь по улицам всегда приятно, особенно когда цель – внимательно наблюдать, искать, высматривать. Щупать глазами. Что-то. Я делаю так всегда, но не постоянно, когда нужно или хочется. Не я одна у нас такая. Не так давно узналось, что где-то в начале девяностых бабушка вписала в свою тонкую светло-зеленую тетрадь с чучелоподобной надписью «Рецепты» и состарившимся утенком на обложке: «созерцание – это простейшее сложнейшее». А потом захлопнула, всунула ее в нутро советской стенки, завалила шершавыми открытками в блесках и наверняка больше не вынимала, оставила перевариваться. Забыла – сознательно или бес. А я нашла. Вот недавно, когда разбирали вещи в ее сгорбившейся квартире. И если бы бабушку хоть раз удалось сбить с

вопросов о том, что я ем, нет, ты конкретно скажи, как учеба и почему нам до сих пор не выделили квартиру в Москве, я напишу письмо президенту, она бы узнала, что внучка ее не спит ночами, любит книги в возрасте и примагничивает всех городских безумцев с масляными глазами, так само получается. Мы с ними давно сошлись. С ума. Что она тоже знает, каково это – уметь видеть. Насколько видеть – сложно. И как редки встречи с теми, кто тоже – видит. Зачем говорить мне это, наше, вот так, теперь, языком случая, из-под полы, шепча в словесное зеркало с облезшей амальгамой. Зачем всю жизнь давить из себя что-то глазами, обсуждать неважное, таить существенное. Мне и раньше было ясно, что жизнь что-то бормочет, но я едва ли что разбирала. Теперь голос ее разветвился, мокрыми волосами ползет по спине. Придется не только видеть, но и слышать. Слушаться. А это – куда сложнее, миру рот не заткнешь.

Меня знакомо тянуло вниз, туда, где врезаются друг в друга Златоустинский и Маросейка. Сценарий прежний. Перебежать светофор, глянуть в пробор Большого Спасоглинищевского, моргнуть камерой, люблю это место. Заправить обрезанные по шею волосы за ухо, просто так, ни для чего, все равно не удержатся, выпрыгнут из-за раковины. Себе не изменять, за асфальт хвататься всеми шестьюдесятью килограммами, бывало легче, ну и пусть. В теперь моем, застывшем моменте никто из всех этих прохожих-ратаев, покрытых пропотевшей пылью и облученных 4G, даже и не

догадывается, что водяные, ноющие мозоли свои я заклеила цветастыми детскими пластырями и спрятала в кроссовки. Сойдут не скоро, через неделю, а то и две. Когда простыня устанет заглатывать жирную мазь, наслонявленную на ночь, а в здешних квартирах под крышей сменятся жильцы. Тут, на этих улицах, хорошо притворяться слепым, угадывать подошвой сбой плитки, шататься, ловить книксен асфальта, подыкивать, врезаться в чьи-то чужие души, брошенные в тела. И ждать не приходится – толпа тогда режется сама собой, с каким-то решительным состраданием. Рушась под ритмом сердечных ударов, моих. Удар – это шаг, еще один – еще один. Вот и дорога, которой не видно, стропотный путь, так называемая жизнь. И если в Москве и плакать, то только здесь, где есть, куда стекать. Слепые, наверное, плачут наверх.

Дальше по прямой никак нельзя, я человек переулочный. Случайный сворот в сторону толчковой руки, в городе все бессильно. Мое путешествие по оконным отражениям, через офисные столы и вздувшиеся папки-регистраторы, прерывалось людьми и лицами. Раз. Бородатый мужчина облизывает губы языком, вкалывая в него свой жесткий волос, как славяне иглы в стены. Два. Женщина во всем очень желтом кричит в обмылок телефона, что у нее родился внук, четыре двести, почти плачет. Волосы наверняка завязаны бархатной желтой резинкой, но я не обернулась. Стало быть, мальчик под знаком Блинецов. Хорошо. Раньше других узнает, что

разрублен на две половины. Кое-кто мне недавно рассказывал, что все страны мира тоже делятся по знакам зодиака и что Россия – Водолей. Я сначала не поверила и рассмеялась, а потом пришла домой и вбила в строку поиска этот странный запрос. Оказалось, правда. Теперь понятно, почему мне здесь так плохо, с Водолеями у меня самая низкая совместимость. Ладно, три. Грустная девушка в футболке с кричащей надписью *GIVE ME A SIGN* смотрит исключительно под ноги, не понимая, что так держит судьбу с кляпом во рту. Наверное, надо помочь. Расстояние сокращается, и я максимально распахиваю глаза, утыкаюсь в ее тонкие веки и не моргаю, даю знак. Секунда – девушка резко поднимает голову, и наши взгляды встречаются. С испуганным «Блядь!» она отскакивает к стене, как кошка от незаметно подложенного огурца. Ее глаза тогда были почти моими, такими же полыми. Надеюсь, в них успело затечь что-то важное, сама же попросила.

Погоде ужасно идут зеленый и серый, я у нее и подсмотрела. Еще один сворот, теперь налево, не люблю несправедливость. Через открытые первоэтажные форточки слышались усталые шлепки по бритым щекам и световым выключателям, затянувшийся рабочий день окончен. Это время рафинированных старых дев с тяжелыми серьгами и короткими стрижками, чьи шеи обмотаны шифоновыми платками, а пальцы – корпоративными пакетами. Единственный момент нашей встречи, трещина в часах, когда я сочувствую их жиз-

ни, а они моей. Саднит только одно: им — домой, а мне — мне обратно. Обратно, туда, где было столько всего и не было еще большего. В нашу комнату, где всегда пахнет сном и стиральным порошком, а сушилка простирает руки к небу. Она стоит, ноги на ширине плеч, рядом с горой книг, привалившихся друг к другу на сдвинутых тумбочках, места больше нет. И страницы от влажности вяются и пухнут, голодая по коже на ладонях, в черный день их уже не продать. И вся эта прооранная здесь боль за годы не зарубцевалась, и все эти провинциальные слезы от того и сего не высохли, а набились под дешевые обои и запеклись там намертво. Всплывают ночами, тогда особенно слышен их прибой, и спится хорошо, я знаю, только в море расступившемся и морем захлебнувшимся. И так, и так — все едино, на дне. Всегда было интересно, сколько же там трупов.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.